

Моей матери

Жизнь не легка ни для кого.

Но стоит ли придавать этому значение?

Мы должны стремиться к цели и быть верными себе.

Нужно помнить, что каждый из нас наделен
своим даром, и суметь разглядеть этот дар.

Мари Кюри

Он погиб под колесами конного экипажа.

Это произошло в четверг вечером, он просто хотел перейти через улицу. Взял левее и, сделав несколько шагов, столкнулся с лошастью. Наверное, он растерялся, почувствовав, как ноги скользят по мокрой мостовой, и упал. Он чудом остался жив — лошадиные копыта и передние колеса тяжелого экипажа лишь слегка задели его лицо. Кучер не смог остановиться и попытался хотя бы свернуть в сторону.

Но заднее левое колесо подмяло под себя то, что оказалось на пути. Шесть тонн раздавили его голову.

Несчастный случай, досадное происшествие — так, ничего особенного, обычное дело.

Вот и все.

19 апреля 1906 года

Париж был странным в тот вечер. Обратился в женщину, которая укуталась в безыскусную стыдливость, словно чувствовала себя виноватой. Огни города и его рокот, от которого гложешь, отступили, и вместо них — скромное платье и собранные в строгий узел волосы. Тогда, 19 апреля 1906-го, Париж не желал быть обольстительным, и я непременно заметила бы это, если б рядом со мной не было Ирен, а еще дождя.

Едва переступив порог дома, я поняла, что он стал другим. Воздух, как и всегда, был сухим, но атмосфера была полна напряжения. Витал едва уловимый запах сырых пальто, мокрых калош и сигаретного дыма. Эмма, наша гувернантка, ждала меня, стояла посреди комнаты, точно приросла к полу, и была до странного бледной. Она посмотрела на меня с таким выражением, которое я в первое мгновение не сумела истолковать. Пospешив к моей дочери, она сняла с нее пальто и тут же увела на кухню, словно не хотела оставаться наедине со мной. Лишь потом, возвращаясь мыслями к этим минутам, я поняла, что Эмме было страшно.

В нескольких шагах от себя я обнаружила Поля Аппеля, который заведовал факультетом естественных наук, и Жана Перрена, нашего близкого друга, и это тоже показалось странным. Я почувствовала, как

напряжение нарастает и пронизывает меня насквозь. Глаза у обоих — чересчур воспаленные, маленькие, и в них читалось отчаяние.

Тебя больше не было, и я поняла это прежде, чем в сердце вонзились те самые роковые слова:

— Пьер умер...

Кто-то схватил меня за плечо, чтобы я не упала, и мой взгляд невидяще скользнул по стенам комнаты. Шкафы и секретеры пахли воском, там хранилась наша одежда, документы и предметы обихода — все эти вещи мне хотелось перечислять одну за другой, лишь бы не слышать тех слов и звона колоколов, их тяжелого гула, бронзового и торжественного, и этого непривычного звука — шелеста гравия под колесами повозки, увозившей тебя от меня.

Твое тело — недвижимый объект в мире, по-прежнему полном движения. Я погладила твоё лицо. Рана на голове незаметна: её бережно обмыли, и лишь твоё отсутствие кричало об этой ране в полный голос. Мои пальцы осязали это отсутствие тебя. И лишь потом я разглядела кое-что в твоих волосах — твоё губчатое серое вещество. Я завернула его в платок, слепленное со сгустками крови, и положила в карман вместе с твоими вещами, бывшими при тебе тогда. Перьевой ручкой, ключами и твоими часами — они остановились в тот миг, когда ты умер.

Погладив твои пальцы, сжатые после судороги, я стиснула твои запястья в надежде, что ты отзовешься,

а потом подтащила к кровати стул и тяжело на него опустилась. На меня навалилась тоска, грузная, как насквозь промокшее пальто, и я кричала тем криком раненого зверя, чьи стоны разбрызгиваются по стенам, словно краска.

Я даже представить себе не могла, что бывает такое крошечное одиночество.

Париж, 1894–1896

Я познакомилась с Пьером Кюри не по воле случая, но благодаря единственно возможному стечению обстоятельств. Мне требовалось пространство для работы, а у Пьера места оказалось предостаточно. Шел 1894 год, я писала свой второй диплом*. Университет предоставил мне крошечную лабораторию для проведения опытов, но там оказалось совсем тесно, нигде развернуться, и я проводила дни, натыкаясь на стены и роняя предметы.

Пока однажды тихим вечером, который я проводила вместе с двумя давними друзьями, судьба не настигла меня. Юзеф Ковальский, польский физик, проводивший в Париже с женой — моей подругой детства — медовый месяц, произнес фразу, с которой все и началось: «У Пьера Кюри есть лаборатории...»

Мы договорились о встрече, Пьер был пунктуален и сперва показался мне совсем молодым. Внезапно в миг удивительной ясности мне открылась безупречная стройность его мыслей. Я с упоением слушала рассказ

* Поступив на физико-математический факультет Сорбонны в 1891 г., Мария Склодовская получила степень лиценциата физических наук, заняв первое место (1893 г.), а в 1894 г. — степень лиценциата математических наук, заняв второе место. — *Здесь и далее прим. ред., если не указано иное.*

о его исследованиях, он говорил о точности измерений, которой стремился достичь. В моем сознании развернулось бескрайнее поле возможностей, он стал ключом, разомкнувшим замок внутри меня. Слова Пьера оказались созвучны моим собственным мыслям, в этих словах отражались те образы, которые мне никак не удавалось догнать и ухватить. Казалось, вот он, единственный человек в мире, способный понять меня, и осознание того, что я наконец нашла собеседника, сделало меня совсем иной женщиной.

С того мгновения я беспрестанно думала о Пьере Кюри: хотя и старалась гнать от себя прочь подобные мысли, само его имя звучало столь прекрасно, что хотелось произносить его снова и снова.

Пьер пригласил меня на ужин. Всего лишь ужин, продлившийся весь вечер. Точно так же мы ужинали в последующие годы — время летело незаметно при наших встречах, и мы пытались отщипнуть от него хоть кусочек. Столько всего надо рассказать друг другу, столь многим поделиться, расспросить обо всем на свете и повторить слова, услышанные друг от друга. Сразу стало ясно, что мы нужны друг другу так, как румянец нужен лицу.

Однажды вечером, выйдя из ресторана, мы окунулись в Париж, красовавшийся тогда во всем блеске прогресса. Магия электричества рассеивала темноту, и мы понимали сущность этого света, казавшегося метафорой

наших чувств. Мы были в правильном месте, нас посещали тысячи мыслей, догадок и идей. Не слишком-то охотно признаваясь себе в этом, я уже чувствовала, что единственно правильное место для меня — рядом с Пьером.

Вернувшись домой, я все никак не могла уснуть. Дождливая парижская весна, в окно сочится металлический запах мокрых улиц. Я стала бродить вокруг кровати, задевая углы. Он мужчина, я желала его и в то же время — опасалась.

Я давно решила, что не стану ничьей собственностью. Внутри меня все еще неизбывным оставалось то унижение, испытанное много лет назад, когда Казимир объявил своим родственникам, что женится на мне.

— Это на гувернантке-то? Неужели ты готов связать себя с женщиной столь низкого происхождения? — изумился его отец.

Всего лишь пригоршня несправедливых слов — и переменилась вся моя жизнь, а также и я сама. Казимир покорился воле родителей и без всяких объяснений, запуганный, словно щенок, потрусил прочь спустя месяцы обещаний и утаивания правды. Мне стало тесно, как бывает тесно ногам, сдавленным слишком узкими туфлями, я чувствовала себя глупышкой, как та, кто ничего не понимает и не видит. В тот день я решила, что в моей жизни нет и никогда больше не будет места для любви.

А потом появился Пьер, и вместе с ним — свет, озаряющий небо. Но поддаваться нельзя, следовало лишь работать и держать данное себе слово.

В годы, остававшиеся до начала XX века, Париж был городом, за которым неотрывно наблюдал весь мир. Париж ловко приспосабливался к переменам, и все в нем дышало новизной — искусство, наука. Париж ничего не утаивал: ни полуночников, которые, пошатываясь, разбредались по домам, ни шумных рабочих, бравших штурмом вагоны утренних поездов, ни экипажей, кативших по набережной Сен-Бернар к улице Кювье, ни речных трамваев на Сене, стиснутых каменными фасадами домов со скульптурами. Вечерние фонари проливали на все это свой сизый свет.

То были годы культурного брожения, появлялись новые газеты и журналы и бились за то, чтобы сообщать новости не только образованной элите. Над городом воспарила Эйфелева башня — этот скелет бросал вызов пышности Оперы и других величественных зданий, воплощая в себе стремление к переменам или же просто провокацию. И вот, пока электричество приводило в движение лифты самой высокой в мире конструкции и освещало улицы, вытеснив газовые фонари, ученый, которого ждала слава, открыл излучение, названное по его имени — рентгеновским.

Вильгельм Конрад Рентген всего лишь пытался подтвердить результаты одного из своих опытов: используя катодную трубку, он совершил то, что потрясло мир. Рентген соединил трубку с насосом, дабы разредить все газы внутри нее, а потом закрыл трубку с обоих концов металлическими пластинами — электродами, создав электрическое поле. По трубке пробежало голубое свечение, похожее на молнию, — от положительного полюса к отрицательному.

Удивительным оказалось то, что этот поток энергии не просто излучал свет, видимый сквозь слой черного картона, которым закрыли стенки трубки, но словно вырывался за пределы этих физических преград. Рентген поместил рядом с трубкой фотопластинку и повторил эксперимент: голубое излучение засветило пластину, отпечатавшись на ней.

Рентген побежал звать жену, привел ее в лабораторию и попросил прижать руку к фотопластинке, а сам снова создал внутри трубки электрическое поле. На снимке, хотя и не вполне четко, просматривались кости руки госпожи Рентген, а также обручальное кольцо у нее на пальце.

Излучение проникало сквозь материю, и Рентген, который пока не мог объяснить его физической природы, назвал это явление икс-лучами.

Шло время, исследования продолжались, и ученым стало ясно, что речь идет об электромагнитном излучении, которое по сути своей неотличимо от обычного

света, разница лишь в том, что длина волны у этого излучения меньше. Оно сопровождалось сиянием, точнее — особым мерцанием, которое не иссякало даже тогда, когда источник излучения убирали.

Спустя несколько недель после публикации результатов этих опытов физик Анри Беккерель сделал следующее открытие. Он решил проверить свою догадку о том, что если направить фосфоресцирующие лучи на фотопластинку, то на ней отпечатается любой подсвеченный ими предмет. Беккерель взял соли урана и насыпал их на медный крест, а с обратной его стороны положил фотопластинку. Несколько дней кряду он ждал, пока солнечные лучи прольются через окно лаборатории и засветят пластину: солнце показывалось редко, выдался самый дождливый февраль за последние десять лет. Устав ждать, ученый убрал все в шкаф и занялся другой работой. Но вскоре Беккереля охватило нетерпение, столь свойственное ему, и он решил все-таки проявить фотопластинку, хотя не сомневался, что без солнечного света на ней ничего не отпечаталось.

То, что он увидел, его поразило. На фотопластинке проявились четкие очертания медного креста, а значит, икс-излучение не питалось солнечным светом, но исходило от солей урана.

В те несколько недель после встречи с Пьером Кюри я пыталась сосредоточиться только на своих опытах.

Рано утром я приходила — часто самой первой — в лабораторию, выделенную мне для работы. Сняв пальто и шляпу, я вешала их у двери и вдыхала едкий запах уксусной кислоты и сладковатый — этилацетата, проходила сквозь вереницу комнат и вступала в свое маленькое царство. Заканчивала работу я лишь тогда, когда лаборатория пустела и начинали гасить свет.

Пьер Кюри находился где-то рядом, я чувствовала это по силе зарядов, пронизывавших воздух, словно насыщенный электричеством. Видимо, Пьер Кюри прочел мои мысли и избегал пересекаться со мной.

Но однажды он вошел ко мне в комнату. Я не отрывала взгляда от градуированной колбы, в которой только что произвела обогащение небольшого количества урана.

— Ты уже несколько дней подряд смотришь на эту колбу.

Я на него разозлилась: ненавижу, когда за мной наблюдают, и особенно досадно, если этого не замечаешь. Я застыла на стуле, точно школьница, которую заставили слишком долго сидеть на месте.

— Здесь происходит что-то странное, — ответила я негромко.

Ему стало любопытно, он подошел.

— Минерал, из которого я извлекла этот уран, дает более сильное излучение, чем сам образец очищенного от примесей урана, — продолжала я.

— Ты хочешь сказать, что минерал мощнее чистого урана? А ты уверена, что не ошиблась в расчетах?

— Эти расчеты я повторила десятки раз, и результат всегда один и тот же.

Я водила пальцем по строкам в тетради, показывая Пьеру свои записи. Он молча вглядывался в мои вычисления. Я глубоко вздохнула.

— Какой минерал ты взяла? — наконец спросил Пьер.

— Урановую смолку*, но у меня ее осталось слишком мало, чтобы продолжать опыты. Из этого же куска я выделила немного тория, и он тоже дает излучение, как уран... но все-таки сама урановая руда светится ярче, чем уран и торий. Думаю, в ней есть еще какой-то элемент. Иначе как объяснить странные результаты опытов и...

Пьер поднял на меня взгляд — словно вдруг распахнули окна и в комнату ворвался свежий ветер. Я едва заметно отступила и свела вместе носки ботинок, как в школе, когда учительница входила в класс. Наверное, в мою жизнь и правда мог войти мужчина и озарить самые темные ее уголки, однако я была уверена, что потом он исчезнет.

* Наиболее распространенный минерал урана. Кроме урановой смолки также используются названия уранинит, урановая смоляная руда, урановая смоляная обманка. Устаревшее название — настуран (от др.-греч. *ναστός* — уплотненный и лат. *uranium* — уран).

— Новый элемент? По-твоему, в минерале не только торий и уран? — усомнилась я. — Думаешь, такое возможно?

— Если это в самом деле так, ничего поразительнее и быть не может.

— Ничего поразительнее, чем открыть новый элемент? — спросила я, обводя взглядом лабораторию.

— Нет, не то. Влюбиться в женщину, которая откроет новый элемент, вот это и правда необычайно...

Итак, кто-то должен был высказаться напрямик.

— Прости, мне не стоило говорить этого, — поспешил добавить Пьер, словно раскаивался в своей откровенности. Сердце стучало у меня в ушах, казалось, я где-то не здесь. Я вконец растерялась.

— Не стоило говорить, что я сделаю небывалое открытие? Да ты мог прокричать об этом во весь голос! — выпалила я.

И выручила его из неловкого положения, я ведь умела это делать. И вернулась к своим исследованиям и гипотезам. Это ведь единственный известный мне способ прогнать прочь слишком смелые мысли, заполонившие ум.

Еще несколько недель мы обсуждали это.

— Если в урановой смолке и правда есть еще какие-то элементы, способные выделять энергию, и если предположить, что эта энергия не зависит от атмосферных

условий и солнечного света, то атомы — но это касается лишь некоторых элементов — должны проявлять свойство излучения. И скорее всего, чем выше концентрация излучающего элемента, тем мощнее окажется энергия, — сказал мне Пьер.

— Теперь остается только дать название этому явлению! У меня в голове вертится слово «радиоактивность»! Что думаешь?

В ответ я лишь кивнула, словно в тот миг мое тело перестало мне принадлежать, а изумление не позволяло поверить в подлинность того, что происходит.

Пьер вышел из лаборатории, сказав, что сейчас вернется.

— Мы никогда не убедимся в достоверности своей гипотезы, если не используем более точный измерительный прибор. Когда я исследовал электрическое поле внутри сжатых и жидких кристаллов, приходилось измерять крошечные доли электрического заряда, и для этого я изобрел особое устройство... — продолжал Пьер, входя в лабораторию с большой коробкой в руках. Он бережно поставил коробку на пол и открыл.

— Этот электрометр со шкалой еще ни разу не подводил меня...

— Он может измерить электрический потенциал? — спросила я.

— И ускорить твою работу, Мари. У тебя есть идеи в голове, а у меня — приборы. — И Пьер улыбнулся.

Удивительная, сильная связь между двумя людьми, способными понимать друг друга без лишних слов, для меня стала чем-то совершенно новым и неожиданным и поначалу казалась чудом.

Наконец появился недостающий фрагмент, без которого наша мозаика не складывалась. Урановая смолка, столь важная для меня руда, которую добывали в Богемии, тогда была главным известным источником урана.

Руду выгрузили во дворе под жалобы ученых лаборатории: пространство, которое считалось общим, завалили тоннами черной сыпучей породы. Мы крошили ее, носили ведрами в лабораторию и там обрабатывали. Удаляли все примеси, которые можно удалить, через возгонку сульфидов в вакууме и дробное осаждение растворов соляной кислоты при реакции с сульфидом водорода. Выпавший осадок дальше разделяли на фракции: растворяли его в азотной кислоте и добавляли воду, пока не получали достаточного количества нового осадка. Потом воду сливали и топили этот осадок в азотной кислоте. Образовывался очередной осадок, и мы снова лили в него воду, и снова следовали тому же алгоритму действий, пока наконец не осталась едва различимая щепотка нужной нам субстанции, активность которой при столь малой массе никогда раньше не измеряли.

Ни одна женщина и ни один мужчина не согласились бы проделать такую работу в одиночку. Но вдвоем

мы справлялись великолепно: я поняла это однажды вечером. Солнце уже клонилось к закату, небо померкло, и вдруг я увидела, как сияют глаза Пьера в зареве свечи. Чуть погодя, когда он подал мне пальто и сказал, что завтра мы продолжим работу, я почувствовала его взгляд и по коже пробежали мурашки.

— Я останусь тут на ночь. Хочу продолжить измерения, — произнесла я так твердо, как только могла.

Пьер осмотрелся вокруг. Не самое уютное место, без сомнения.

— Тогда я тоже остаюсь.

Я улыбнулась:

— Вот и отлично, будем отдыхать по очереди. Пока один из нас наблюдает за реакциями, другой может даже вздремнуть...

— И где же? — усмехнулся Пьер. В его голосе я уловила недоумение.

— На полу, конечно.

Пьер взъерошил волосы, и, если б не городской шум, я бы услышала его мысли.

— В той комнате есть кресло. Как раз для тебя, Мари. Не годится тебе спать на полу...

Меня всегда обезоруживала его сердечность, дающая знать о себе в самый нужный момент. Мне хотелось поцеловать и крепко обнять его, но я не пошевелилась. Лишь пожала плечами и, отвернувшись, пошла к столу, чтобы он не заметил румянца на моих щеках.